

## Одинокая

Должно быть, её обманули — не встретили.

Растерянно оглядывая шумный зал ожидания аэропорта, молодая и высокая, черноволосая, в красном, туго опоясанном плаще и красных остроносых сапожках, стояла она вполоборота к выходной двери. Глыбился рядом чемодан, раздавшийся с боков, чёрный, перехваченный двумя светлыми, издали похожими на бинты, широкими ремнями. Не опуская растерянных глаз, девушка время от времени прижималась сапожком к чемодану, как бы проверяя, на месте ли он.

Дождь, взявшийся омыwać тротуары и крыши города ещё засветло, льёт и теперь, в полночь, и на паркете у дверей поблёскивает полукруг, мокрый, в чёрных подтёках. Вбегая с улицы, люди тут же складывают зонты, расстёгиваясь, отряхивают плащи и куртки — брызги во все стороны. Девушка в красном морщится, вздёргивает недовольно плечи, однако с места ни на шаг.

Анисимов, грузный и широколицый, втиснувшийся на скамью между худым стариком и толстой, средних лет, женщиной, наблюдал за девушкой и чемоданом сперва равнодушно, потом с насмешкою, а потом и сочувствуя: должно быть, милая, тебя обманули — не встретили.

Вот хорошо бы, живо размечтался он, подойти и познакомиться, с тайным удовольствием понять, что обрадовалась, что совсем, допустим, одинокая, если не брать в расчёт какого-нибудь вертлявого дружка, что есть и квартира, скромная и нагретая, свободный диван, горячая вода в ванной и котлеты в холодильнике — их можно мигом оживить и поднести к столу. Хорошо-то хорошо, отвёл глаза Анисимов, сожалея о её красивой фигуре и о своей лени природной, о возрасте и, короче говоря, много ещё о чём. Усмехнувшись, стиснув губы, горчившие табаком, он приткнулся щекою к острому плечу старика и нехотя прикрыл глаза.

«Произвёл посадку самолёт из Горького... Объявляется посадка на рейс до Владивостока... Гражданка Тихонова Генриетта Ивановна, у справочного бюро вас ожидают...»

Анисимов посмотрел: не Генриетта ли Ивановна? Нет, девушка не бросилась, волоча по полу чемодан, не заглядывалась, глупо и радостно кривя лицо, бледное и скуластое, с глубокими

притемнёнными глазами, а как стояла, так и стоит, понурившись. Ладно, что же теперь, сказал себе Анисимов, ещё сколько-нибудь понаблюдаю и подойду и, если не испугается, провожу к стоянке такси.

«Есть свободные билеты до Симферополя...»

Покурить бы... Как-то всё было складно в студенчестве: шутя подойдёшь и там, гляди в оба, не шутя познакомишься — лёгкость в языке необычайная, и всё почти удавалось. Покурить — и тогда уже собраться с духом: я могу быть полезен, девушка? Нет, так, наверное, нельзя, не пройдёт, не тонко. Что значит — полезен?... Генка, например, давно бы уж красиво подкрался и затеял лёгкое знакомство, а дали бы ему от ворот поворот — убрался бы так же красиво, держа осанку, немедля обо всём позабыв и ничуть не жалея. Брат Генка моложе на двенадцать лет, целая эпоха, вот человек прямых действий и победного холодка в чуть раскосых глазах.

Часа два назад Анисимов неосмотрительно оставил место на скамье, покурив, подышал свежим воздухом, вернулся в зал — место занято. Пришлось долго блуждать по залу. Задумчивый старик подозвал, усадил рядом. Девушки в красном у дверей ещё не было. Скорей всего, она появилась позже, когда Анисимов, объяснив задумчивому старику, что возвращается из командировки и рейс перенесли до семи утра, тяжело, будто провалившись, заснул на стариковском плече.

Кстати сказать, Анисимов возвращался в родной город не один, а с Василием Нагих, мастером из тарного цеха. Друг Василий не пожелал ночевать в жёстких условиях. Помялся и дал Анисимову телефон какой-то здешней Людмилы, наказал, что если объявят рейс, мало ли что, нужно позвонить этой Людмиле, скоком же он примчится в аэропорт. Понимаешь, казак, проникновенно говорил Василий, это моя первая жена, ну, ты сам понимаешь... Анисимов неодобрительно хмыкнул, бумажку с номером телефона, конечно, взял и упрятал в паспорт, где, впрочем, лежал и билет на самолёт, и попытался вспомнить: говорил ли прежде Василий о первой жене? Наверное, всё же придумал, шифруется.

Всё бы ничего, жить можно, думал Анисимов, но очень хочется есть. Причём желательно бы

поеть горячего, густого, с ржаной краюхой. Лежит в портфеле скоросшиватель с документами, рядом свёрток, обтянутый целлофаном, в нём холодный обрубок колбасы и сладкая булка, вот, всё на месте, можно сунуть руку в портфель и нащупать, но не вытаскивать же, не глотать принародно? Может, ещё час-другой — и народ в зале утомится... Что свёрток он не вытаскивал из портфеля, тем более не разворачивал, принявываясь к колбасе, Анисимов помнил точно. Не мог же он, положим, проделать это во сне? Положим, сонный мог бы как-то вытащить и развернуть свёрток, но тогда бы уж непременно проснулся и срочно затолкал в портфель. Но почему-то Алка потом утверждала, что видела, как с остановившимся лицом Анисимов достал колбасу, понюхал и даже, кажется, пытался откусить.

— Да что вы, Бог с вами, — сердился Анисимов, уверенный, что девушка неловко пошутила. — Неправда... А потом, если откровенно, вы на меня ни разу не посмотрели. Да? Это я таращился, сообщал: как же она, милая?

— С чемоданом-то? — спросила она, смеясь.  
— Ну да. Хотя нет... Я вообще, — уклонился Анисимов. — Знаете, вам, наверное, часто льстят, что у вас доверчивая улыбка?

Она взглянула исподлобья, неодобрительно, застегнула верхнюю пуговицу, красную, в цвет плаща, и поморщилась:

— Говорят... Все говорят и говорят. Не переслушаешь.

Слов нет, понятно, сам он первым никогда бы не подошёл к ней, не осмелился, зная о случайных знакомствах много приятного, но ещё больше смешного и горького. Просто в какое-то мгновение ему почудилось, что девушка вроде бы как сделала едва уловимое движение рукой, подзывая, и при этом точно в мокрый лоб ему смотрела. Он вскочил и, неуверенный, готовый тут же опуститься на скамью, ткнул себя в грудь пальцем. Она чуть заметно кивнула и улыбнулась робко, опасливо, словно бы готовая тотчас отказаться от улыбки, если снова он угнездится на скамье. Схватился Анисимов за портфель мимо ручки, портфель выскользнул... Так и пошagal он к девушке — портфель под мышкой, шея багровая, и зубы не разжать ножом.

Одинокие в ночи, выстелив под фонарём две длинные тени, молчали затем на стоянке такси, уговорившись, что он её усадит, сам вернётся на вокзал коротать часы до утра.

Как бы между прочим, вкрадчиво, она заметила: — Если по уму, товарищ, надо вас и вернуть, откуда сняла.

— Не понял, — сказал Анисимов.

— Я говорю: может быть, проводить вас? Я уж сама уеду.

— Ну зачем же? Всё равно до семи сидеть...

— Нет, я прямо не знаю, — голос у неё был звучный, говорила — будто бы шла по тёмному лесу, покрикивая, чтоб отогнать страх. — Я стою, стою, жду, жду... Эдька, подлец, не встретил. Ну и чёрт с ним! А вам, товарищ, спасибо навек.

— Подумаешь, мне даже приятно помочь.

— Не знаю, как насчёт приятно, — ухмыльнулась она, — а плечики натрудили и брюки измарали снизу.

— Ладно, чего уж там, — Анисимову стало приятно, давно его никто не хвалил. — А вы откуда прилетели? Устали, наверное...

— Стою и думаю: чем вас отблагодарю? Не знаю прямо.

— Откуда, говорю, прилетели?

— Не всё ли вам равно, а? Может, я никуда и не летала.

Анисимов слегка насторожился.

Поначалу, правда, он не слишком-то и ждал такси, думая, что оно не к спеху, надеясь, вот-вот завяжется разговор с девушкой — всё ближе время к утру. Справившись с её чемоданом и отдышавшись, распрямив плечи, некогда плотные, теперь немного обвисшие, он почувствовал себя враз помолодевшим. Но... Минуты шли — молчание становилось невыносимым, и Анисимов готов был, не простившись, податься вон. Что самое поразительное, недоумевал он, опустив глаза, молчим-то мы вдвоём, а будто я один виноват, а она — что же? И эту как бы совместную вину, мучаясь, Анисимов, рядовой мужчина, тут же мысленно свалил на спутницу, одновременно, впрочем, спутницу и оправдывая.

Сверху, от слабо натянутых проводов, срывались, бились о сырой асфальт тяжёлые капли. Анисимов подставил ладонь, ждал, капли падали всё мимо, наконец одна угодила — таки, шлёпнулась и растеклась по коже — ни тёплая и ни холодная. Девушка, поглядывавшая искоса, вдруг улыбнулась по-доброму и чуть, пожалуй, снисходительно.

— Я думаю, вы одинокий. Лицом смахиваете на одинокого.

— Не понял.

— Знаете, вид у вас... Вот, кажется, щеками улыбаетесь, а глаза — что прямо подбитые.

Анисимов бездумно проговорил: — Конечно. Ни кола ни двора. Только механосборочный цех.

— Я ж говорила! У меня — опыт!

— Опыт, — пробурчал он. — Наговариваете на себя. А что, если я соврал? Да ведь я точно соврал. Имею трёхкомнатное жильё, дочку, жену Светлану и сына Егора. Сын в третий класс перешёл, маленький ещё... Но я, знаете, поздно женился.

Он сказал это и подумал: «Нехорошо, что я за чем-то вроде перед ней оправдываюсь». И добавил: — Правильно, что поздно женился. Надо было и ещё позже...

— А лучше бы и совсем не женились, — подхватила она. — И куда мужчины спешат? Потом маются... — Зато брат Генка — он молодец, он не спешит. Хотя тоже скоро, — Анисимов запнулся. — Пожалуй, смотрю на вас, с Генкой вы одних лет, одного темперамента. Наверное, нашлось бы много общего. А я что? Мне скоро сорок.

— Разве предел? — сказала она беспечно. — Это самый смак.

— Да? Слово какое-то...

— Нормальное слово, сочное: смак! — Она как будто с ним заигрывала. — Я, например, только за сорокалетнего выйду. Вот попадись он на горизонте.

— А Эдка? — вспомнил Анисимов. — Простите, что напоминаю.

— Ничего, даже прекрасно, что интерес проявляете. Если уж вас потянуло ко мне, спрашивайте, не трусьте! — она погладила Анисимова по плечу, смахнула какую-то нитку. — Да белая, белая нитка! Блондинка привяжется. Не я, значит, последняя.

Анисимов достал из куртки сигареты и зажег. Женщины со звучными низкими голосами, подумал он, не такая уж и редкость. Другая особенность — говорить и при этом заглядывать собеседнику в глаза, наклоняясь, почти тыкаясь носом, особенность близоруких и неуверенных, вызвала у Анисимова прилив жалостливого любопытства. Кто она вообще такая? Где работает? Кто её родители?.. Ну хорошо, отвечал он сам себе, допустим, всё это я узнаю — и дальше что? Скорее всего, часто и горько её обманывали и продолжают обманывать, рассудил он спокойно, и так же часто смеялись над ней, и она в себе чуточку разуверилась. А может, неудачница от рождения? Не докурив сигарету, он поплевал на дымящийся уголёк, бросил под ноги и, намеренно огрубляя голос, спросил:

— Родители-то есть? Живы?

— Есть, есть, — ответила она неохотно. — В Кондауровке живут. Всего пять часов на автобусе. А-а, всё это неинтересно... Слушайте, знаете что? — она расширила глаза и быстро проговорила: — Чего здесь толкаться? Поедем ко мне!

Анисимову вдруг стало жалко её заранее. Он отвернулся, чтобы не показывать своё растерянное лицо, слушал, отвернувшись.

— Я понимаю, конечно... Накормлю вас борщом. Заодно ваши брюки почистим. Соглашайтесь!.. А то я сейчас уеду. Чувствую, буду свиной, что не предложила.

— Нет, спасибо, — строго сказал он. — Нельзя мне ехать.

— Так и знала, — она поморщилась. — Теперь я свиная, что предложила. Вот и не знаешь, что лучше, а что хуже.

— При чём тут свиная? Не надо так на себя.

— А как надо? Научите! — она стала кусать губы.

Она сунула руки в карманы и, чуть сторбив спину, направилась к газетному киоску, слабо мерцающему витрины и, стояла там, опустив голову, думая о чём-то, конечно, невесёлом.

Анисимов смотрел в сторону киоска: дурак я, дурак, напротился с дурацкой помощью, лучше бы уж дремал на стариковском плече...

Он стал думать о жене, зная по опыту, что как только начинаешь в командировках беситься, срочно думай о жене — это возвращение с небес на землю.

Вспомнил, нынче в мае обмывали двухэтажную дачу Василия Нагих, который как-то уловчился отгрохать её почти в черте города, в сосновом бору, на берегу рыбного озера, купил моторку, сети и акваланг. Сидели долго, захмелели, и пришлось заночевать. Звёздной ночью, лёжа под овчинной шубой и прислушиваясь к неразборчивым голосам, доносившимся снизу, с первого этажа, Анисимовы долго притворялись, что спят. Наконец, вздохнув, Светлана повернулась к Анисимову, обняла и зашептала: «Борька, я, конечно, им завидую. Они молодцы. Но ты заметил, что Василий спит в обнимку с бескурковым ружьём и под тремя замками?! Лучше уж так жить, как мы, беспортошные!..» Утром она была настроена иначе: «Лопух ты, Боря. Знаю, мы до старости не вытащимся из долгов...» Вечером же, когда сидела перед телевизором, ни с того ни с сего заявила: «Василий, понятно, красавец, но в голове — чужие жёнки и сберкнижка. А душа? Мне, допустим, зачем красивая рожа? Главное, Борис, ты не рвач и не грубый. Ничего, как-нибудь...» И выскочила в кухню, там расплакалась.

Подкатила к стоянке долгожданная машина с зелёным светляком. Анисимов радостно сдвинул на затылок шляпу. Потом приподнял, крикнув, чемодан и засеменял к машине — девушка обогнала, заглянула в полуоткрытую дверцу и отпрянула. — Нет, нет, ни в коем случае, — зашептала умоляюще. — Что у него за челюсть? Он бандит, бандит. Как завезёт на пустырь — я ведь не пикну.

Заглянул и Анисимов — водитель был седой, прилично одетый, даже в галстук, приветливо улыбался.

— И не спорьте, милый, — шептала она, тесня Анисимова от машины. — Это он для маскировки.

Подкатила и вторая машина. Анисимов кинулся к ней, попутно удивившись своей прыти, понимая уже, что важно скорее утолкать чемодан. Судя по всему, спутница почему-то искала причины не ехать. Анисимов бежал, дыша сердито и неровно. — Остановитесь! — крикнула она за спиной. — Я не поеду.

— Что опять? — крикнул он.

— А вы не ослепли?.. Ведь женщина за рулём.

— Ага-а-а! Ну, ясно! Также бандитка! Шпионка!

— Не надо, милый,— тихо сказала она.— Противно слушать. Дёргаетесь, как с цепи сорванный.

Твёрдым плечом она толкнула Анисимова, наклонилась и неожиданно легко приподняла чемодан. Анисимов догнал, отобрал. Она молча глядела, как он устраивал чемодан в багажнике машины, третьей по счёту, и когда устроил и выпрямился, она проговорила негромко, чуточку заискивая: — Действительно, я дрянь... Если по уму. Но вы поймите, я в подьезде сильно боюсь, там мужики вино лакают втёмную. Пожалуйста, отвезите меня, а уж сами потом...

— Вернись,— строптиво хмурился он.— Отвезу и вернусь.

В машине было почти темно. Приёмник, потрескивая, выдавливал скрипичную музыку, слабую, как пищание комара. Уныло и наставительно, взяв отеческую ноту, Анисимов стал вполголоса толковать об исторически сложившейся вздорности женщин, какую ни взять, обидчиво говорил, что многие женщины сами по себе портят жизнь, потому что сначала, любя, исковеркают жизнь ближнему мужчине.

— Всё ясно,— обрадованно перебила она.— Вас заедает жена!

— Не заедает меня жена,— возразил Анисимов.

— Оправдываете её, а зря. Я ведь такая ж, как она, мы все— под косую гребёнку. Что о себе знаю, то и о вашей жене знаю. Есть, правда, совсем испорченные жёны— это которые святых изображают. — Чёрт возьми! — изумился Анисимов.— Как всё повернулось! Я ведь ни слова о жене не сказал. И вообще... Я убедительно прошу: войдите в моё положение! Не впутывайте в свою жизнь.

Плохо, что в машинной тесноте покачивалась какая-то грязно-зелёная, как бы болотная полутьма, искажающая черты её лица. Анисимов глянул раз, другой, третий и, не особенно огорчившись, сумел-таки разобраться, что лет ей уже под тридцать, просто в аэропорту она была отдалена и ей удалось выдать себя за девушку беспомощную. Время, конечно, спать, она сонная, с лёгкой жалостью думал Анисимов, стараясь по-хорошему объяснить и чёрные, слегка припухшие пятна под её усталыми глазами. Кто знает, может, действительно умоталась она с дороги? Может, в больнице какой провалялась? Может, летала хоронить кого-то дорогого? И вот, подумать, что мне, чужому, до её болезней и хлопот, и ей до меня, дело, если уж честно, какое, подумать, дело, размышлял Анисимов, понимая, что употребляет мысль не свою, а вычитанную и много раз сказанную им вслух по мелким поводам. Ну, конечно, чемодан я затащу в тёмный подъезд и там, если придётся, погоняю выпивох, дело привычное, да и выпивох, взять их поодиночке, сами всего на свете боятся, а затем поставлю чемодан перед дверью и прыгну в такси: вперёд, вперёд!..

Украдкой Анисимов покосился на спутницу, почувдилось, будто она вздохнула, подавляя стон.

— Вы чего притихли? — мягко спросил он.— Говорите что-нибудь.

— Чего, чего? Обиделась...

— Здравствуйте! На меня, что ли?

— На Александра Сергеевича!.. Конечно, на вас.

— Не понял.

— У-умный вы,— заметила она осуждающе и при этом посмотрела на водителя, хмуρο молчаливого, молодого, но с измождённым треугольным лицом.— Хотя, если честно... Вы все паразиты и все равны одинаково! Сами виноваты сейчас, а хвост поднимаете. Зачем на меня орал? Я вам что? Виноваты, так уж и признавайтесь.

— Ну, допустим.

— А если без всякого «ну»?

— Да,— сказал он.— Я виноват, что орал.

— Молодец! Это надо же!

Она придвинулась, слегка горяча Анисимова близким дыханием, и заглянула в глаза.

— Какой же вы... Беда, мы так культурно с вами познакомились. Даже можно сказать— красиво! Неужели сразу— конец? Жалко...

Немного ей сочувствуя, он сказал:

— Что ж... Давайте по-людски... Меня зовут Борисом Тимофеевичем, я инженер, заместитель начальника цеха.

И неуклюже, точно как и мужикам в своём цехе, протянул руку с растопыренными узловатыми пальцами:

— В общем-то, грубо говоря, вы мне понравились.

— Серьёзно? Повторите, я плохо расслышала...

— Ну вот, началось...

— Ой, пожалуйста, вы этим не шутите! Грех шутить.

Посмеиваясь, она прижала его руку к своей щеке, быстро к губам, снова к щеке и несколько удивлённо проговорила:

— Какой вы, господи... Горе ли моё?

Он подёргал рукой, как бы осторожно высвобождаясь. Она лишь крепче её стиснула, глядя в упор сухими и напряжёнными глазами. Он разобрал в них то ли осуждение, то ли страх. Стыдясь за неё и за себя, он вдруг окончательно убедился, что она, похоже, правда не очень нормальная, потому что не умела скрывать чувства. Щёки у неё были горячие, будто она день крутилась у плиты, а пальцы были точно вынутые из студёной проруби. С неудовольствием он подумал: вот теперь обязательно, нервно посмеиваясь и воображая невесть что, она себя постепенно разжалобит и, не хватало ещё, горестно вззоет тут же, в такси.

— Тимофеевич, рука ваша отдаёт бензином и вся в табачище! Это противно и хорошо. И вообще, хорошо, что вы... массивный, лысый спереди— значит, и умом правильный. Я знаю многих...

Анисимов теперь уже с силой высвободил руку.

— Не надоело ещё? — спросил сердито.

— Просто я теряюсь, когда говорю с вами. Такое бывает, — она рассмеялась, легко, без притворства. — Но мне приятно, что вроде вы уже ревнуете. Ведь правда ревнуете? — она сияла глазами и казалась Анисимову красавицей. — Ничего, всё будет нормально. Это говорю вам я — Алка. И вы не жалейте, что увязались за мной.

— Я? — Анисимов приоткрыл рот. — Ну даёте! Я ли увязался?

Водитель обернулся и насмешливо оглядел Анисимова.

... Не пройдёт и получаса, как небо, чёрное в вышине, станет оживать, едва заметно голубея над ломаными контурами далёких сопok, обступивших город, совершенно чужой Анисимову, и разом погаснут на каменных улицах фонари и пёстрые строки реклам. Проводив Алку, он вернётся в порт и задержится на стоянке такси, прислушиваясь к недовольному рокоту самолётов, взбегающих и опускающихся на бетонные полосы. По безлюдной площади, удаляясь вниз, к гостинице, неторопливо прошагают два милиционера, держа в руках точечные огоньки сигарет. Проскочит мимо Анисимова мотоцикл, гремющий, без глушителя, и мотоциклист в синем плаще и каске пожарника, узколицый, прокричит что-то весёлое, указывая рукой в сторону темнеющей аллеи. Анисимов всмотрится и увидит совсем юную парочку, притихшую у ствола акации. Лохматый мальчик в очках и девочка в розовом свитере и джинсах стояли, обнявшись, неловко переплетаясь ногами, словно бы пристыли — не оторвать, и Анисимову станет жалко их до слёз. Раскурив сигарету, сырую, особенно едкую на пустой желудок, пойдёт он вдоль мокро зеленеющей клумбы, чуть спотыкаясь, и вскоре обнаружит что искал — глубокою и не очень чёткую вмятину от остроного сапожка: в клумбу угодила Алка, когда отпрянула от седоголового таксиста. Анисимов постоит, покурит и сердито втопчет окурок в клумбу, рядом с этой вмятиной...

Когда же водитель обернулся и неодобрительно оглядел Анисимова, словно бы осуждая за что-то, Алка мигом накинлась:

— Эй, паренёк! Не смей так обижать Бориса Тимофеевича!

— Зачем вы? — смутился Анисимов. — Пусть смотрит. Я не в обиде. Он прав — мы слишком громко разговариваем.

— Не в этом дело, — буркнул водитель. — Я просто так.

— Честно говорю, Тимофеевич, — шептала Алка, обжигая ухо Анисимову. — Я этого паренька не знаю. А то вы ещё подумаете, что я с ним дружила, поэтому он ревнует.

— Долго ещё? — оборвал её Анисимов. — Мне, собственно...

— Нет, нет, — сразу отозвалась она. — Две-три минуты... А ну-ка, Тимофеевич, посмотрите сюда. Вот направо, — и показала рукой. — Здесь я верчусь, работаю, не глядели б мои глаза. Вот, вот — да нагнитесь же вы, пожалуйста.

Сквозь припотевшее стекло, нагнувшись, он разобрал мерцающие строчки, несколько удалённые одна от другой: «Кафе», «Парикмахерская», «Авангард», видимо, кинотеатр, но не стал переспрашивать, в каком из заведений она вертится.

— Действительно, что за нужда? — она снова принялась его обхаживать. — Сказали же ясно: вылет будет не раньше семи! Впереди целая ночь. А там, в зале, фанерные лёжки, тускло несёт хлоркой, все кашляют, храпят — зачем вам?

Анисимову и хотелось поддержать эту тему, и страшно было.

— Сейчас попробую отгадать: вы в кафе работаете, да?

— А у меня тихо, — продолжала она, — мы включим музыку.

— Ну, если не в кафе, тогда в парикмахерской?

— Эх вы!.. Да я по ярмаркам лазаю, младший брат научил, — она задумалась. — Или лажу. Как правильно?.. Ничего, ничего, милый, — с отдалённым злорадством сказала она, — когда-то вспомните эти минуты — тошно станет. Мне тошно сейчас. Вам будет после.

— Всё! Хватит! — Анисимов стукнул кулаком в колено и поморщился. — Ну, скажите, вам какой толк? Я зайду, посижу — и поминай как звали. Охота вам?

— Конечно. Иной раз, знаете, хоть что-то бы вместо ничего.

Анисимову неожиданно понравилось это признание.

— Даже если намылюсь приобнять, — она с вызовом улыбнулась, — вы же такой весь бдительный! Если по весу — запросто меня одолеете.

— Чёрт знает как глупо, — вымученно проговорил он. — Ведь такого не должно быть. Наоборот бы нужно. В дикой природе, наверное, всё наоборот. — Нет, и там всё так же. Мне объясняли: она, а уж за ней он.

— Должна же быть, простите, умная иллюзия, что веду я, а не меня ведут... Впрочем, всё это, подумать, условности, — Анисимов нахмурился. — В конце концов, это не меняет существа дела. Все мы на поводках.

Алка привстала и, склонившись к водителю, что-то сказала неразборчиво. Анисимов увидел, что машина тотчас же свернула в кривой переулочек, и раздражённо открутил стекло, высунулся по пояс, дважды глубоко вдохнул — гниющим деревом и укропом пахло в этом переулке. Будто бы не живые, а талантливо нарисованные карандашом, скользили в темноте спящие избы, разномастные

заборы, поленницы у заборов, показался сруб колодца с чёрным мятым ведром на мокрой цепи. В одной избе светилось маленькое перекрёщённое окошко. Когда миновали переулочек и снова выбрались на желтокаменный проспект, Анисимов ревниво допросил:

— Не нам ли окно светилось? Вообще, кого мы разыскиваем?

— Эх, на окошке на девичьем!..

— А я семь лет после института,— сказал Анисимов с гордостью,— тоже околачивался в деревянном флигеле. Примерно на такой же зелёной улочке. И дружок со мной. Мы платили всего пятьдесят и за койки, и за кормёжку. Знаете, хозяйка была славная. Я, помню, зубрил диамат, ничего не понимаю. Старушка не выдержала и стала объяснять закон отрицания, кажется, отрицанием. Я теперь и сам подзабыл. Представляете? Она ещё гимназию кончала! Потом однажды я пришёл с танцев и привёл девушку Светлану...

— Да, эти старухи... я их боюсь,— рассеянно сказала Алка.— Я тоже давным-давно любила рыжего Серёжу...

— Стоп! Мы кого всё же разыскиваем?

— Ну, притомил!— ответила она с досадой.— Всё просто, как на кассе, вам ничего интересного... Инка, подруга моя, укатила на курорт, мне ключ оставила. Надо же за избой глядеть?

— Надо,— кивнул Анисимов.— Только я не понял: чья изба? Ваша или Инкина? Похоже, что...

— Народная,— усмехнулась она.— Много хотите знать.

— Да? Я тогда вообще буду молчать.

— А старух я боюсь— это верно! Вы меня слушаете?

Она потянулась к нему по щеке погладить, он резко откинул голову.

— Ох, ох, подумаешь,— она вздохнула.— Да, сложно вашей жене... Мне что? Я себе хозяйка, надо мной— только небо и тучи. Нынче, кстати, Серёжка приезжал в отпуск с женой. Идут вчетвером: впереди его «корова» двух мальчат на руках держит, счастливую изображает, а Серёжка позади них шкандыляет, грустный и выпитый. Говорят, на плотине заработал две медали. Кроме того, усы внедрились на лицо. Я думаю: эх, Серёжка, слепога, взгляни ты на свою «корову», она облизывается, смотрит на твоих друзей... Слушаете меня, Тимофеевич? Конечно, нехорошо людей осуждать. Но мне было обидно. Я сразу определила, что не Сергей делает её счастливой.

Анисимов уставился вперёд и— ни слова.

— Экий вы серьёзный, чинный,— Алка вдруг поймала в темноте пуговицу на его куртке, рванула.— Прекрасно! Будем ещё и пуговицу пришивать. Не думайте! Я и варить, и шить умею!

— Отдайте, пожалуйста, пуговицу,— строго сказал он.

— Возьмите... Нужна она мне!

Анисимов вздохнул и спрятал пуговицу в нагрудный карман.

— Тимофеевич, знаете, на кого сейчас похожи?

— Не хочу знать. Опять шуточку припасли?

— Серьёзный, как... графин в президиуме. Вот!

Не оборачиваясь, водитель фыркнул и затряс плечами.

Дом, в который пальцем указала Алка, был обычный, пятиэтажный, из мелкого красного кирпича. Подрулили к крайнему подъезду и фарами выбрали из темноты двухстворчатую дверь, оклеенную листками объявлений, бетонный козырёк над дверью и угол стены. Казалось, застигнутые резким светом фар, кирпичи сразу же стали сочиться холодной красноватой влагой, и по горячей спине Анисимова проскользнула ознобная волна. Задержавшись в машине, он шепнул три слова водителю, и тот, подумав, неохотно кивнул. Алка пыталась сама открыть багажник.

— Четвёртый этаж, Борис Тимофеевич,— она отступила на шаг.

Каблуки у Анисимова были на подковках из нержавеющей стали, звенели на ступеньках, словно бы кто-то невидимый в темноте осторожно пробовал молотком хрупкое стекло.

Алка то и дело опережала его, хотя вроде старалась идти в ногу, останавливалась, поджидая, снова устремлялась вверх. Вскоре глаза Анисимова притерпелись, стали различать высокую фигуру— Алка поднималась, вздёргнув голову, руки держала в карманах плаща.

— Ходили бы ко мне, Тимофеевич,— сказала она ласково.— Слышала бы вас из кухни. Цокот прямо конногвардейский!

— Спасибо,— буркнул Анисимов.

— Ну зачем вы так? Я в хорошем смысле.

Он нашарил зажигалку и, когда остановились на четвёртом этаже, присветил дверь с номером четырнадцать и чёрный резиновый коврик под ногами. На коврик опустил чемодан. Не скрывая облегчения, сделал шумный выдох и сказал:

— Всё! Позвольте откланяться.

Он слышал её дыхание, она стояла спиной к нему.

— Всё,— нетерпеливо повторил он.

— Что ж,— отозвалась она сухо.— Всё так всё.

— Не понял.

Ему вдруг не понравилось, что, будто носильщика, спроваживает она с лёгким сердцем. Того и гляди, трёшник сунет в потный кулак. Может быть, начни она виснуть на его плечах, цеплять за ноги, втаскивая в свою комнатёнку, ему тоже не очень понравилось бы, но всё-таки была бы хоть какая-то честь. Тут и вырвалось обиженное: — Не понял... Я думал, позовёте настоящей. — Звала. Сколько можно? Ломаётся...

— А вот я зайду,— расхрабрился он.— Например, воды выпить.

— Да? Ну, посмотрим.

Не попадая ключом в замок, она шёпотом выругалась.

— Тимофеевич,— обернулась спокойно.— Чиркни зажигалкой.

— Нет, к чёрту... Я так не могу. Надо ехать...

Он перехватил, сдавливая, её руку возле колючего браслета— ключ выпал и, жалобно звеня, забился на каменных плитках. Анисимов наугад, туда-сюда, затопал в темноте ногой, ему удалось— таки придавить и успокоить ключ.

Хотелось с чувством поцеловать Алкину руку, чтобы прощание выглядело достойным. Но лишь ткнулся в браслет носом, оцарапываясь, а потом сильно сжал, тряхнул её руку, как делал это, бывало, вручая грамоты женщинам-ударницам механосборочного цеха, и бессознательно, вполне от чистой души, забормотал что-то приподнятое о её крепком здоровье, успехах в труде и личном счастье, думая с негодованием и страхом: что ж это я такое плету?

— Зачем вы, милый?— воскликнула она, удивляясь и сочувствуя.— Ой, Тимофеевич, как же вам тошно...

Ни слова не говоря, не глядя на неё, Анисимов круто развернулся и замолотил вниз по ступенькам. Требовательный и насмешливый, настиг его Алкин голос:

— Куда?.. Ну, не предмет ли ты казённый?..

Она легко сбежала на площадку к Анисимову, подступила вплотную и, помедлив, вся прижалась, запустила под его куртку отогревшиеся свои руки, смыкая их у него за спиной, обнимая, сдавливая грудь так, что он едва не вскрикнул, и накрыла его рот злыми и горячими губами.

Почти задохнувшись, он мотал вспотевшей головой, сронил шляпу на подоконник и как бы мычал что-то недовольное, ужасаясь, представляя, как, наверное, со стороны и жалок, и смешон. Мгновение спустя, озлившись, почти даже восхищаясь её решительностью, потянулся к ней и сам, уверенно обхватил её прямые плечи.

Быстро она оттолкнула его и ушла по лестнице вверх, роняя на ходу:

— Ещё вспомнишь. Лбом станешь стучаться— не пуцу.

Придерживаясь за перила, Анисимов спускался по этажам— ноги слегка подкашивались. Останавливался на каждой очередной площадке и задира голову, прислушивался, будто бы ожидая, что Алка окликнет и позовет. Пожалуй, больше никогда не увидимся, думал он. Не добрую ли память ей оставил? И отвечал себе: это не важно...

Знать бы ему, горькому, что за полтора часа до самолёта перероет все наличные карманы в поисках

паспорта и билета, где паспорт был— оказалась женская расчёска красного цвета, а явившийся в шесть утра Василий Нагих с ходу пустился в крик: кому ты, казак, дал номер телефона?

Гневаясь и смеясь, он расскажет, что всю ночь какая-то ненормальная названивала, выясняя, кем Людмила и Василий доводятся для Бориса Тимофеевича, потом принималась их стыдить, объясняя, как обидно, что Борис её Тимофеевич, солидный человек, мыкается в зале ожидания, не побеждая голод и мужское одиночество... А под конец и вовсе понесла дурь несусветную, что якобы служит ключницей в «Авангарде», а известна в городе как растущая (по её словам, ей пока двадцать шесть лет) художница, лауреатка, выставлялась с работами графикой. Зато в личной жизни— кирпичи да кирпичи. Она этими кирпичами раз в месяц, оказывается, набивает с тоски чемодан, подруга Инка надоумила, и едет вечером в аэропорт «удить рыбу», а повезёт, так и крупную. Подвернулся ей вдруг Борис Тимофеевич, но он не рыба, не какой-нибудь, понимаете, судак, не ханыга, а очень порядочный человек, даже золотко. Тут полусонный Нагих бросил трубку.

...Ещё пока не зная этого, Анисимов спускался по лестнице, немного сбитый с толку, слегка укоряя себя и оправдывая, не представляя, что думать, а когда, наконец, вышел из подъезда— закурил, приласкал глазами мирный огонёк такси и стал внушать себе, что всё хорошо.

## Колька Медный, его благородие

Брожу по улицам родного городка, нацепив чёрные очки, горблюсь, прихрамываю, пришаркиваю, попадают знакомые— никто меня не узнаёт. Я худ, бледен, небрит и в растерянности. Белый плац, мятый, давно не стиранный, я с утра свернул, бросил на плечо, хотя в одной сатиновой рубашке уже сильно мёрзну, ветрено в сентябре, ветер как бы прикатывается на жёлтые улочки с дальних снеговых вершин. Утром я очистил карманы от автобусных билетиков, опилок, карандашных огрызков, табачной пыли... Оказалось у меня всего лишь двадцать рублей и семьдесят две копейки. Был долг в триста рублей, мне обещали быстро вернуть, адрес оставили, но я вот явился по адресу— должника нет и не будет, уехал насовсем в ему известном направлении. При желании я мог бы разыскать, пожалуй, бывших одноклассников: Слепцова, Желобанов, Кольку Медного, Игорька... Однако, поразмыслив, я решил дожидаться ночи. В полночь подойдёт поезд Харьков— Владивосток, в нём проводник тётя Галя, в нём мои вещи, и, собственно, летом это мой дом на колёсах.

В дневном ресторане завтракаю, в вокзальном буфетишке обедаю, дремлю на детском сеансе в кинотеатре, а потом на аллее пустынного сквера, здесь раньше церковь стояла, я отыскиваю

голубую лавочку, на ней впервые в жизни целовался, и обматываю голову плащом и одиноко сплю. В молодости я много и бурно читал, помню страницы: расстроенный герой спит, и снится ему, хорошему, что-то обнадёживающе хорошее. Я же просыпаюсь, не помня сна, с затёкшими ногами и оголившейся спиной. Скорее всего, думаю, разбудили меня вороны: они словно бы переругиваются, кружа над тополями, что-то себе высматривая внизу. Нехотя закуриваю, оглядываюсь и в глубине сквера, рядом с железным решетчатым забором, вижу мужчину и женщину: они сидят друг против дружки на сухой траве и обедают. Вернее сказать, обедают женщина, а мужчина кормит её с ложки, тарелка у них одна.

Конечно же, они стесняются посторонних глаз. Вижу, как он неспокойно озирается. Я ложусь на бок, усмехаюсь: ничего себе парочка,—и пытаюсь понять, кто они такие, смотрю на них, гадаю... Мужчина сидит, поджавши ноги по-восточному; медного отлива волосы, нестриженные, напозают на воротник рубахи, а рубаха в чёрную и красную клетки, чёрные на нём брюки, а на ногах новые бело-голубые кеды. Сидеть ему неудобно, не привык таким манером, поэтому он то встаёт на колени, то почти ложится, раскинув ноги, тогда лопатки как бы отделяются от узкой спины, образуя глубокую ложбину. Я было подумал: уж не Колька ли Медный?! Был у нас такой гонористый шибздик, шёл обычно впереди буйной компании и заедался, а уж потом в драку вступали мускулистые дружки. Рассказывали мне, что сразу после школы он попал в морфлот, служил на Тихом океане, там вроде и остался на рыбацком сейнере... Женщина сидит вся в чёрном, как ворона, чёрным она платком обмоталась, оставив узкую щёлку для глаз, и только периодически отводит платок, принимая губами ложку, тут же и запахивается вновь. Нет, чтоб Колька стал кормить женщину?! Скорей всего, думаю я насмешливо, она монашка, а рыжий её кормилец—штатный атеист, распропагандировал её, лишил слепой веры, теперь вынужден собственноручно её кормить. Мне уже не смешно, но интересно, я закрываю глаза, надеясь ещё подремать, ну хоть с часик, и это мне удаётся.

Вечером сажу в прокуренный вокзальный буфете, столик мой заставлен пивными кружками, весь в пенных лужицах, мухи стараются ползать посуху, но одна угодила в мокроту, я сбил её ногтем на пол. Через чёрные очки всё вокруг уныло, бессмысленно. Два окна выходят на перрон, дождливый, улепленный жёлтыми листьями, виднеются товарные вагоны, цистерны, платформы с брёвнами. Ближний путь свободен, и шагает по шпалам человек в форменной фуражке, оглядывается и что-то злое и непримиримое кричит женщине, бегущей следом, худенькой, тонкошейей, чем-то, видимо, провинившейся перед ним. Герой

ты, герой, думаю, ох и герой, кричишь на женщину принародно.

Я оборачиваюсь к буфету, будто меня кто-то подтолкнул, и мигом срываю очки: Колька Медный! Ну, конечно, конечно, рыжий в кедах разговаривает с буфетчицей, посмеивается, и опять ко мне спиной, но я теперь вижу его в рост: это Колька, да-да!.. Едва сдерживаюсь, чтоб не заорать, не кинуться к нему. Всё-таки я допускаю мысль, что могу и ошибиться, ведь не виделись с ним лет восемнадцать.

Горбясь и прихрамывая, я подхожу к буфету. Поразительно красивая буфетчица: высокая, смуглая, как бы полураздетая, она и ярка, и властна, и притягательна, и, что самое неприятное, знает себе высокую цену. Это я понял по её беглому взгляду: замерила меня, взвесила, оценила и окатила холодом. Рыжий и не оборачивается в мою сторону. Наполнив серую матерчатую сумку булочками, пирожками и рыбными консервами, буфетчица негромко и с укором говорит:

— Держи, кормилец. И больше не ври, пожалуйста, это стыдно.

— Люся, Люся... Хочешь, Люся, я побожусь?! — Колькин голос наполняется обидой. — Да! Потом она сказала: «Кол-ля, моё благородие!»

— Господи, у неё где глаза? Ну какое из тебя благородие?

— Люся, ты просто ревнуешь... — Колька грустно качает головой и, не оглянувшись, удаляется.

Следом и я выхожу, уязвлённый, что они открывничали, не обращая внимания, будто я и не живой человек. Под намокшей берёзой, пронзённой двумя электрическими проводами, стоит Колька и, как я ожидал, та самая чёрная женщина. Колька протягивает сумку, на весу её держит, а женщина сердито сумку отталкивает, сама пьётся. День выпал, думаю: то подглядываю, то подслушиваю...

— Не бойтесь его, гражданка,—говорю я, подойдя близко. — Не враг, не злодей. Я учился с ним и дружил.

Колька удивлённо вскидывает голову.

Обнялись, постояли, обнявшись. Колька тянется рукой, сдвигает на лоб мои очки и вглядывается и как-то понимающе вздыхает. Женщина недоверчиво косит на меня глаза. Я сразу говорю Кольке, что здесь проездом и поезд через пять часов. Он отвечает, что не отпустит меня ни за что и вообще: надо посадить Шуру в такси, а то ей топать за край города, а там всё раздрызгло, раскисло, ещё, чего доброго, утонет, потом уже, короче говоря, посидим, поговорим...

— Никуда ты не поедешь, браток,—заключает Колька.—Кстати, познакомься: это Шура, цыганка,—он хватает мою руку, её руку, соединяет вместе и, довольный, сияет.—Знай, Шура была как бы в вековом плену. И если бы не я... Браток, когда кони уснули, и цыгане их уснули, и сторожа,



я выскочил из-за холма, схватил Шуру, бросил себе на спину и радостно заблажил: аля-улю!.. Тогда-то она, то есть Шура, укусила меня за ухо и упрекнула словами: не кричал бы, дурачок, а теперь нас догонят... Ну что ты, Шура, сверкаешь глазами?! — Неправду говоришь, Кол-ля.

— Конечно, неправду! Зато как красиво!.. Представь, браток: степь, ночь, полная луна, Шура за плечами, я бегу в кедах, оглядываюсь, а топот всё громче, и я уже сквозь волнистые туманы... Ну, в общем, различаю конский оскал... Всё, Шура, всё, больше не буду! — Колька умоляюще складывает ладони.

Я поглядываю на Шуру: чья она, откуда, зачем? На ногах её, как колодки, тупоносые мужские ботинки, заляпанные грязью, один шнурок коричневый, другой тёмно-синий. Не хочется думать, что она бедна, легче думать, что неряшлива. Если же она бедна и несчастна, размышляю я, отгоняя жалость и тревогу, тогда почему Колька дурачится, приплясывая перед ней?

В такси усаживаем её силой, сразу же и расплачиваемся. Колька достаёт замусоленный блокнот, демонстративно записывает номер такси. Признаться, я ожидал, что женщина поблагодарит Кольку тихим словом или же хотя бы просто помашет ему через стекло, отъезжая, — ничего подобного: тут же будто и забыла про нас, уткнулась лицом в сумку, прижимая её к животу.

Стол, за которым я коротал время, и сух, и чист. Отогревшись, смеёмся, вспоминаем школу, двор, проказы; и подходит Люся с белой скатертью, расстилает её, потом достаёт расчёску и Кольку, слабо сопротивляющегося, причёсывает, ещё и приглаживает ладонью рыжеватый вихорек на макушке. Дважды ещё она беспричинно является к столу, и я дважды оторопело вскакиваю, не сводя с неё глаз. Дикая и неодолимая сила женщины, думаю я об этой Люсе, краснея и злясь, и много же я потерпел, им сдаваясь, они сдавшихся не щадят. Всякий раз, подойдя к нам, Люся красиво склоняется в мою сторону, наполовину открывая грудь и не глядя па меня, и шепчет Кольке что-то смешное, отчего он стеснительно прихохатывает, подмигивает мне, морщит маленькое лицо. Наконец и он не выдерживает:

— Люсь, а Люсь, — и тычет в меня коротким пальцем. — Зачем дразнишь своей коррупцией, Люсь?!

Было здесь самообслуживание, но то ли рыжий числится почётным членом в буфете, то ли уж Люся решает лишний раз подчеркнуть свои достоинства, а только она самолично доставляет из кухни салат и колбасу. Колька часто-часто работает челюстями. Управившись, он вытаскивает из коробка обожжённую спичку, обкусывает её и начинает ковырять в зубах, сплёвывая крошки на пол. Я поглядываю за окно, там и ветер, и дождь,

и ранняя темнота от почернелого неба, стянувшего, кажется, все тучи мира над этим городком.

— Поедешь завтра, браток. Подсажу, ещё дам денег на дорогу. Вчера мы получили бизнест, — важно говорит он. — Сколотили с Самсонычем уборную на четыре очка. Мне денег не жалко. Этот бизнест не имеет конца.

— Ты думаешь, я нуждаюсь?

— Я не думаю, браток. Я вижу... А послушай-ка! — Колька приподнимается на стуле, потирает руки. — Давай: кто кого переглядит? Ты помнишь?! Я перегляжу — ты остаёшься, не едешь. А если ты... Нет, ты не переглядишь, у тебя слабый пульс под коленками!

— Нет уж, лучше на спичках: короткую вытяну — остаюсь.

— Х-ха, насмешил! Да на спичках я смухлюю, ты уж точно не уедешь! Я хочу с тобой благородно. Ну?

Колька приваливается узкой грудью к столу, обнажая ключицы, и как бы втыкает в меня глаза, жёлтые, с чёрными крупинками по ободкам. Я принимаю вызов, удобно облакачиваясь, подпирая голову кулаками. Помню, в пятом классе схлестнулись и едва-едва не ослепли в глупом противостоянии, тогда я моргнул первым.

— Колька, ты настырный парень, знаю, но и я теперь...

— Не продолжай, браточек. Всё равно ты мелко плаваешь, при всём ко мне уважении... Эй, а скажи-ка: ты помнишь, например, кем ты был до рождения, а?.. Вот я тебя проверю на шивовость! — Я?! О Господи... Конечно, не помню! Да и был ли я?!

— Был, был... И я был, — Колька смотрит испытующе. — Только это сложно объяснять простыми словами. Ну, например, так: я был пульсом и мят-кой пушистой горошиной, а вокруг космическая музыка, ну, как на Земле электронная, и пульсировали миллионы других горошин. То есть не горошины, а как бы похожие на них...

— Ну ты фантаст! А зачем вы все пульсировали?!

— Почему — «вы»? И ты был с нами! И мы ожидали очереди родиться на Землю! — Колька хохочет, а глаза серьёзные. — А для этого должны совпасть пульсы батьки и матушки!.. Х-ха! Ты понял мой смысл?! Вообще, ты не бери в голову, что я веселюсь. Я, когда говорю серьёзно, кажусь тогда мелким и тупым... Весело — это красиво!

Глаза мои начинают слезиться, я креплюсь изо всех силёнок.

Однажды летом, было это после пятого класса, помню как сейчас, голопузый, в коротких штанцах, Колька достиг верхушки тополя, а это вровень с пятиэтажкой, где мы жили, и раскачивался и потрясал кулаками, глядя в синее небо. Мы стояли внизу и завидовали, он был совсем рядом с облаками, очень похожими на куски сладкой ваты, её тогда продавали на каждом углу. И вдруг, никогда

не забуду, Колька взбрыкнул ногами и полетел, полетел вниз, словно бы скользя по зелёной горке. Я зажмурился, девчонки взвизгнули. И всё пере-крякивал Колькин крик, дурной и протяжный, обо-рвавшийся неожиданной тишиной. Счастливец рыжий, он зацепился штанами за сук, далеко выдающийся от ствола, и висел как на вытяну-том багре, лицом вниз, перегнувшись вдвое. До асфальта ему оставалось ещё, пожалуй, метров пять. Снизу мы кричали, чтоб отстегнул ремень. Он натужно хрипел: «Угоните девчонок, натура голая, натура... Дурочки, уходите, дурочки...» И я впервые увидел: Колька заплакал. Он пла-кал, выползая из штанов, сверкака худенькими, как два белых голыша, ягодицами, упал, вскочил, помчался в подъезд, а штаны ему я занёс, штаны мы сбили камнями. Он страдал, сунув голову под подушку. Бабушка плакала над ним. Он жил с бабушкой, родители умерли. Бабушка меня увела в кухню, заставила есть пряники, пить компот и тихонько стала рассказывать о Кольке, об отце, матери, потом проводила за дверь и шепнула, что Господь таких любит, как Колька, и Господь рано приберёт его к себе. Помню, долго я с нетерпе-ливым ужасом ожидал: когда? А Колька всё жил и жил.

— Вижу, ты окреп натурой, — Колька беспокоится; наверное, и он терпит изо всех силёнок, чтоб не моргнуть. — Хорошо сопротивляешься, браточек! — Жизнь, Колька, жизнь...

— Что, досталось мальчику? Гляжу, морщин уже напахал...

Осторожно, боясь до срока моргнуть, я киваю: досталось. Глаза мои, кажется, игольчато остекле-нели и режут веки изнутри. Я вот-вот обольюсь слезами и зажмурюсь, и это мой проигрыш. Мне хочется остаться с Колькой, не ездить, но — чтоб без проигрыша. Краем глаз вижу, что с соседних столиков на нас уставились люди, в буфете устано-вилась недоуменная тишина. Колька вдруг расши-ряет зрачки, близкие, страшные, я чувствую, они меня будто втягивают всего, я будто барахтаюсь, растворяюсь в жёлтых глазах, в чужом мире, где проносятся тени и огонь, я горю, горю, задыхаюсь, стул из-под меня рвётся, и я падаю пушинкой, пере-ворачиваясь на спину, и нет полёту ни края, ни дна. — Браток, очухайся ты!.. — Колькин голос сверху, я лежу на полу, Колька, хлещет меня по щекам. — Браток, ты что? Слабонервный, что ли?.. Люся, хватит, мы его зальём, как мышонка...

Люся стоит, бледная, держит алюминиевый ковшик с падающей струёй, подтекающей под мою спину.

— Ой, товарищ, вы его простите, ненормаль-ного, — Люся пытается ухватить мои плечи, под-нять. — Сколько тебе говорить, хулиган? — она беззлобно кричит на Кольку. — Я когда-нибудь сообщу в отделение!

— До смерти напугал, браточек, — признаётся Колька, усаживая меня на прежнее место, и ходит возле меня, ходит, стряхивает пыль со спины, оглаживает плечи, виноватый. — Не люблю про-игрывать. А кто, скажи, любит?! Я подцепил стул за ножку, ты и грохнулся. Но ты почему не спру-жинил? Почему как мешок?

— Замолчи, Колька, ладно? Я сам виноват, что задумался.

Люся облегчённо вздыхает и тоже оглаживает мою спину, ласково, снисходительно, и отходит, смешливо оглядываясь. Она видела мою слабость, я сразу теряю к ней интерес. Мне стыдно, не могу понять: гипноз, что ли, у Кольки? Ведь, похоже, я терял сознание...

— Колька, а ты уже не первого так?.. За ножку?

— Со стула-то?.. О, ты четвёртый, браток, так что не обижайся. Дурак я, дурак... Кстати, будем считать всё же, что я переглядел, согласен? Я пойду рассчитаюсь... — Колька всё ещё виновато блудит глазами. — Браток, сейчас пойдём ко мне, заберём Самсоныча, а потом двинемся... Ну, в общем, я потом объясню, и вы поймёте мой глубокий смысл.

Колька возвращается от буфета с жёлтым ключо-чком в руке.

— Во! Люся мне дала на всякий случай, — объ-ясняет Колька, собирая со стола грязную посуду. — Люся уступает нам свою квартиру, а сама будет ночевать у Маринки. Не хмурься, не хмурься... Знаешь, она не из тех. Обманчивое впечатление, браток.

Проходим мимо буфета, Люся смотрит на меня вызывающе и с лёгкой усмешкой, а Кольке она грубовато кричит:

— Сразу бы и шли. А?! А потом и мы придём с Маринкой!

— Люсь, ты не дразнись... У нас с братком сегодня опасное дело. Я специально его вызвал. Правда, браток? Эх, Люся, Люся, погляди на мою рожу. Я не опасен общественному питанию!

Люся тербит на шее золотистую цепочку, хо-лодно усмехается.

Дождь прошёл, сыро, холодно, на асфальте рас-теклись огни фонарей, с крыши опадают редкие капли. Колька застёгивает верхнюю пуговицу на рубахе, она ему велика, обвисает с плеч. Стоим под берёзой. Колька подгрёбает ногой мокрые листья, голову опустил, рассказывает: жизнь не сложилась. Он работал на сейнере, потом электро-монтёром, диспетчером, начальником спасатель-ной станции, учеником повара в ресторане, теперь устроился разнорабочим на стройке, а по ночам сторожит детскую музыкальную школу, в ней и ночует. Я слушаю, молчу и слегка рад, хвастаться тоже нечем.

— Понимаешь, браток, — Колька морщится. — Я везде суюсь, пробую искать правду, обличаю

паскудников... Х-ха! Это сложно. Пожалуйста, обличай, если сам чист, как стёклышко. А кто без греха?! Однажды я даже женился, это было по любви. Ну, привёл её, оглядел, у меня вкус, ты ведь знаешь... И что?—Кольке хочется держать лёгкий тон, но я хмурюсь, и он перестраивается.— А ничего хорошего... Я любил, она не любила... На прощание сказала: ты, Колька, слабак и нянька, ты даже на щепочку не наступишь, думаешь, ей будет больно... Сказала: переродись, Колька. Я ей: а как?

Свистит невдалеке тепловоз. Такси выходит на вираж перед стоянкой, стонет, елозя шипами по мостовой, и две тёмные фигуры припадают к дверцам, отворяют, запрыгивают, и уносятся такси, дерзко помаргивая огоньками: а вы? А что—мы?... Стоим, молчим, топчемся на палых листьях. Колька поднимает глаза.

— А ты у кого из наших гостил? У Слепцова, у Желобанова?..

— Никого не хочу видеть.

— А-а, понятно... Ну и зря. У них тоже ничего доброго... Эх, жизнь наша бекова, нас дерут, а нам и некого! Ну-ка, браточек, постой здесь минутку, я—сейчас. Минутку!

Колька огибает буфет, я слышу, он стучится в чёрную дверь. Я вздыхаю. Колька не изменился, как и в детстве, он скучать не даёт. Ведь мог отобрать пуговицу, дрянь копеечную, а назавтра подарить ценный складешок; мог сговорить пацанов и накинуться на слабого, а мог и в одиночку выйти против десяти, и выходил; мог нахально врать, когда и не требовалось, а то вдруг сказать правду, за которую, знал, не поздоровится, и говорил, и ему влетало. С ним было интересно дружить, ожидая попеременно и зла, и добра.

Хлопает чёрная дверь, слышу тяжёлое придыхание, шаги, и является из-за угла Колька в обнимку с прокопчённым бачком. Крышка маленькая, провалилась внутрь.

Я заглядываю: макароны по-флотски. А Колька бодро мне объясняет, что дома его ждёт-пождёт голодная команда. Подходим к стоянке, Колька корячится, пыхтит. Таксисты не берут, отказывая кто как может, при этом брезгливо оглядывают рыжего с бачком, и я их не осуждаю.

— Х-ха! Не будем унижаться, браток,—обидчиво сплёвывает Колька.—Завтра меня должны назначить начальником таксопарка. Ничего, ничего...

Стараясь не опачкаться, беру бачок, жалея Кольку, такое у него несчастное лицо, что, не ровён час, он заплачет. Идём, несём бачок, стесняясь выходить под фонари. Колька хитрит, чтобы подольше идти пустым, занимает моё внимание неблицами, анекдотами. Я осторожно, чтоб не спугнуть Кольку, говорю: мол, сегодня я малость поспал в скверике, меня разбудили вороны. Он переспросил: в котором часу? И, не дожидаясь

ответа, стал сокрушённо рассказывать, как хорошо бабушку.

— И вот остался один в двух комнатах. На что мне столько? И потом, я привык к старухе, разговаривал с ней, ухаживал. Она умерла, браток, и я сразу населил квартиру сиротами-стариками: Самсоныч, Сафроныч одноногий и Марта Гавриловна. Зимой они много спят. Летом торгуют цветами, луком. Ну, в основном бабка Марта торгует... Не сдавать же их в дом престарелых? Пускай живут, радуются своей коммуне. Ничего, они меня любят. Я их в общем склепе захороню, я обещал, есть друг знакомый на кладбище.

Возле подъезда, родного мне и забытого, я передаю бачок, оттянувший руки и плечи, и в квартиру отказываюсь заходить. Колька неодобрительно бурчит, ему подниматься, помню, на пятый этаж. Тополь высится в темноте, жёлтый, мокрый, и не видно: отросла ли новая верхушка? Ведь рыжий пятиклассник, оскорблённый, настрадавшийся под подушкой, тополию не простил, ночью влез с ножовкой и верхушку ему оттяпал. Ствол холодный; я обнимаю, пальцы не сходятся, ну вот, кажется, ещё чуточку, ещё—и сойдутся, я в нетерпении и бессилии бьюсь, бьюсь ладошками на оборотной стороне и только шлепки и слышу, а потом слышу и смехок за спиной.

— Браток, природу не объять голыми-то руками,—Колька посмеивается, подталкивая в спину высокого человека.—Спилим, стешем и обнимем... Иди знакомиться, браточек! Это мой Самсоныч...

Самсоныч останавливается передо мной, вздёргивает тяжёлый подбородок, прищуривает умные и холодные глаза. Добротная, синего цвета, куртка на меху, с оловянными пуговицами, шляпа, остроносые ботинки придают старику несколько опереточный вид.

— Друзья мои!—восклицает Колька, чуть напыжившись, пригладив лацканы зелёного пиджачка.—Друзья! Не задавайте вопросов, я позже всё расскажу. Я зову спасать хорошего человека. Вы поняли мой смысл?... Самсоныч и ты, браток, могу я положиться на вас?

Я подхожу к Кольке, с чувством жму руку. Он недоверчиво косится на меня, подозревая, что я насмешничаю. Самсоныч недовольно бурчит, натягивая глубже шляпу:

— Ну а в общих чертах? Куда идти-то?..

— Например, я женюсь,—Колька не любит вопросов.—Когда зову на лёгкий бизнес, ты вприпрыжку за мной...

— А жить?—Самсоныч чуть заискивает.—Уневесты? Или у нас?

— У вас, у вас!.. Да на фиг вы нужны? Подслушивать? И потом, Самсоныч, ты путаешь. Ты не путай! Как это—у вас? Вы—у меня!

— Коля, Коля, не сердись, я оговорился.

Мне показалось, что старик вовсе не оговорился. Он был заметно растерян, раздражён, вроде как искал повод прицепиться к Кольке, обидеться и, обидевшись, никуда не идти.

Колька держит путь в темноте, будто по не видимому нам компасу. Идём напрямую через глухие дворы и тёмные пустыри, сквозь дырки в дощатых заборах, отпинаем лающих собак, подбадриваем задумчивого Самсоныча. Конечно, тащиться в мокрую ночь, не зная смысла, конца, степени опасности — удовольствие, я бы сказал, ниже среднего, а только я предчувствовал, что направляемся к чёрной женщине, это было любопытно. Идём так: Колька, следом я, а Самсоныч спотыкается далеко позади.

— Ух, я женюсь! — Колька толкает меня локтем в бок, кивает на Самсоныча: мол, я для него говорю. — Даю вам палец на отруб: стану тогда говорить и размышлять красиво! И высоко! А что? Мысли, они ведь тоже от человека зависят. И от одежды зависят, от обуви. Будем откровенны, друзья, на мне кеды за шесть тридцать. И мысли иной раз приползают — с гулькин нос.

— Коля, Коля, честное слово, я устал. Скоро придёт?

— Браток, — шепчет Колька на ухо, — с каким удовольствием старик поколотил бы меня. Да?.. Скоро, Самсоныч, скоро!

Выходим па окраинную улицу, пересекаем раскисший огород, минуем кочковатое футбольное поле, вязнем в мокром песке старого карьера — помню, когда-то играли мы здесь в Чапаева, — и, выбравшись из песков, видим впереди нечёткие контуры деревянных домов, протянувшихся в два ряда. Темно, тихо, в некоторых окошках неяркий свет.

— Всё, пришли! — Колька подзывает Самсоныча. — Это новый посёлок мелиораторов. Браток, при тебе его ещё не было... Итак, слушайте и повинуйтесь! Самсоныч, помнишь, мы в конце августа получили расчёт за котельную?.. Браток, мы её белили... Ну, получили расчёт, Самсоныч побежал в сберкассу, он очень аккуратный вкладчик, а я, короче говоря, пошёл выпить двести граммов «Рубина», а потом купил сдобную булочку и в сквере кормил голубей... Х-ха, городские голуби, браток, знают меня в лицо!

В Колькином рассказе было много лирических отступлений. Рассказывая, он увлекался, как бы даже заводил себя: то злился, то чувствительно моргал и молчал долго, то невозможно хвастал... Колька занял лавочку в сквере, день был субботний, весёлый, солнечный. Шарашились по аллее паренки с транзисторами, смеялись девушки, скрипели детские коляски, тьякали розовые собачки на поводках у почтенных дамочек. Были пустые скамейки. Колька удивился, отчего женщина с ребёнком на руках, а ещё двое пацанят

держались за её подол, обошла пустые скамейки и усадила свой выводок рядом с Колькой. Возмущенно, решил он, дети пришли порадоваться на голубей. На женщины были чёрный халат, чёрная косынка, чёрные туфли. Ребятишки сидели тихие, смотрели на голубей как-то строго и чуть даже завистливо. Общительный, мягкий, Колька стал расспрашивать о детях, о жизни и — вообще. Женщина расплакалась и плакала долго: дети не её. Так вышло: приехал в Наманган командированный, вроде непьющий, уговорил, увёз тайком в Мелекес, с месяц жили неплохо. Он недавно схоронил жену, оставившую трёх мальчишек, и, наверное, собирался стать заботливым отцом, а вместо мамы взял её, Шуру. Она пожалела целю века в беде, она даже фамилию его не спрашивала. Паспорт её он сразу забрал, спрятал, пообещал написать её родителям: мол, всё им объясню, Шура, всё будет хорошо... И стал он вдруг пить, а может, и не вдруг, может, думала Шура, он и всегда пил, и свёл родную жену; и пошло у Шуры колесом: Семилуки, Моршанск, Бугульма, потом Златоуст, Ачинск... И вот — посёлок мелиораторов.

— Это судьба моя, — Колька печально оглядывает меня, Самсоныча. — Деньги к деньгам... А ко мне — недоделки. Я тогда и сказал Шуре: держись, раз уже женщиной так предписано — мучиться. А когда сильно прижмёт, ты беги в музыкальную школу, спроси Кольку... А ребятишек я лично обнял и пообещал вывести их к светлому будущему. Как будто, браток, знаю туда дорогу.

...Посочувствовав женщине, Колька собрался уже в ларёк за конфетами, но появился у отдалённого входа в сквер коренастый мужик с крупной головой, в красной безрукавке и брюках-галифе. Он придерживал на верёвке худую козу, она мелко и сердито копытила асфальт. И Шура всколыхнула, и дети повскакивали, и Колька проводил их глазами, грустными и облегчёнными. Подумал о мужике без недавней враждебности, допустил даже, что Шура всё наврала, ведь не совсем же сволочной мужик, если думает о молоке для пацанов.

— А сегодня утром, — Колька заканчивает рассказ, — она меня разыскала, вся побитая, голодная, попросила продать серьги, чтоб хватило денег до Намангана... Браток, он пропил козу, а утром собрал чемоданишко и исчез, накарябал записку, что не может больше, что сам пропадёт и их поубит... Должен сказать, я не верю, что он исчез. Куда? Скорей всего, он до конца будет пить кровь.

Я перевариваю услышанное, мне ясно, для чего нас Колька притащил сюда, — хорошего мало. Самсоныч встревоженно говорит:

— Коля, Коля, поворачиваем. Это не наше дело. — Я так и думал, — отвечает Колька насмешливо. — Я поэтому и оттянул рассказ, чтоб не пугать заранее. Но теперь, Самсоныч, тебе ничего не остаётся. Ночь! Ты струсишь возвращаться, я знаю.

Догадываясь, что Кольку не остановить, я всё же пробую поддержать Самсоныча:

— Вот именно: ночь! В чужие дома ночью не ходят. — Да, да! — Самсоныч воспрянул, встретив поддержку. — Ладно, если эта Шура одна. А если всё же с мужиком? Я бы не хотел... Агитировать его за трезвость?! Это заведомая чушь. Уволь меня, Коля. Я не хочу отбирать хлеб у народного суда, у милиции.

— Х-ха! Народный суд!.. Ну, его посадят — кто будет кормить детей? Ты, Самсоныч?.. Нет, мы его пугнём, а надо — врежем.

— Ну и шёл бы ты один!

— Браток, не остри... Он крупнее меня. Зачем рисковать? Так и так говорить буду я один, но вы будете как бы свидетелями. Ясно? — Колька вдруг темнеет лицом, кричит: — Да вы что — не люди? Что вы — суслики, пузыри, крапива?.. Я вообще боюсь, Шура эту ночь не переживет. Траванёт себя какой-нибудь гадостью, а может, и повесится. Кто их поймёт? Ведь страшная ночь! Одна, голодные пацаны, всё драно, холодно. Ну? Как вам не стыдно? В конце концов, я мог бы и один. Но она ж вроде как одинокая, а я мужик...

Останавливаемся у крайнего дома. Над калиткой светит лампочка, в середине улицы — вторая, в конце — третья, всего три лампочки на километровую улицу, пропади она пропадом. Под лампочкой я напрасно ищу номер дома, а висит только жестянка, синий квадратик, и нарисована белая лопата. Колька качает головой:

— Нет, на Шурином доме висит табличка с ведёрком. А номеров здесь нет и не было... Ничего, Шура обещала бросить плашку у калитки. Ещё сказала, чтоб я держался правой руки... Эх ты, Самсоныч, древний ты, бессознательный! — Колька всё не успокаивается. — Даже взять Люсю... Я спрашивал: Люся, в чём цель твоей проходимости? Ну, в смысле, в чём она видит цель жизни?.. Люся ответила: в общественном питании, Коля, стараемся умножить максимум наевшихся. Видишь, умная женщина! А ты?.. Понимаешь, браток, — Колька тычет кулаком мне в грудь. — Принёс макароны, а старцы — в крик: вчерашние, вчерашние... О как! Я ещё и виноват!

— Коля, Коля, это ведь не я. Это Сафроныч с Мартой кричали.

— Милые вы мои! Живите, я всё равно вас потерплю, хоть вы меня и не любите... — Колька простодушно вымогает признание в любви.

— Коля, ты что? — Самсоныч чуть не плачет. — Любим, любим!

— Ничего, ничего, — Колька будто не слышит. — Как придут мне кранты, так и запоёте репку... Ничего, я с вами чувствую себя живой. Поняли мой смысл? Ругаете меня, а я сижу, молчу, сравниваю вас с собой и вижу: я живой... Дай, Самсоныч, я тебя за это обниму!..

Они обхватывают друг дружку, мнут, тискают, а я думаю: действительно несчастный Колька человек, если находит утешение в том, что сравнивает себя, молодого, неглупого, с кучкой сирых и, видимо, довольно изворотливых старичков и своим превосходством доволен.

Идём по улице мелиораторов как-то крадучись, воровски.

Тянутся повдоль гравийной дороги желтеющие, приятно пахнувшие смолой брусчатые дома, желтеющие заборы, калитки и ворота, дощатые тротуары мимо голых палисадников — и ни души, и тень, и только в иных окнах холодеют стёкла от зелёного мерцания цветных телевизоров. Держась правой стороны, Колька сходит от дороги на тротуар и возле каждой калитки чиркает спичкой, высматривая ведро и плашку. Мы с Самсонычем топаем по гравию, скрежет стоит, хруст, искорки вспыхивают под ногами, а самих ног в темноте не видно. Самсоныч тянет меня за плащ в сторону темнеющего палисадника. Я вглядываюсь: астры! Ну и зрение у старика! Редкие тонконогие астры телепаются на клумбе, круглой, обозначенной побелёнными кирпичиками. Перемахиваю за низкий штакетник, склоняюсь над клумбой. Самсоныч забирает букет, нюхает, кашляет.

— Ну всё, братки! — Колька дожидается нас, показывает дощечку с ржавым гвоздём посередине. — Это и есть плашка... А вот, глядите, нарисованное ведёрко... — Колька бодрит себя, я прислушиваюсь, он напевает: — «Ух, я чёрная моль! Я л-летучая мышь!..» Х-ха, давай цветы, Самсоныч! Это вы молодцы, жулики... — он уверенно нажимает на скобу, заменяющую ручку. — О! Закрылась!

Он нашаривает в темноте камешек, швыряет в стекло.

— Потеха, — замечает Самсоныч, — если это другой дом.

— Не-ет, старичок, вот же плашка... Хотя всё возможно...

Я вглядываюсь в окно, отдёрнулась там, в комнате, светлая занавеска, и — мужская физиономия! Самсоныч от неожиданности вскрикивает, отбегает к дороге. Через мутное стекло мужчина чудится мне с квадратным лицом, мрачным, фиолетовым. Не скрою, дрогнули колени и у меня. Колька с непримиримым видом подходит к окошку, пытается разглядеть черты лица, но какие там черты, если я в карман рукой не попадаю, не вижу кармана, чтоб хоть спички достать.

— Эй, ты! — кричит Колька. — Что тут делаешь? Выходи!..

И начинается у Кольки с мужиком нечто вроде переглядывания: кто первый моргнёт. Ну, я в этом смысле спокоен за рыжего. Думаю: ну и хорошо, что мужик дома, вот только, жаль, мы много времени ухлопали, пока шли, теперь надо

идти обратно, а—куда, к кому?.. Мужик вроде там делает нетерпеливые знаки: проваливайте! Колька стонет, показывает ему кулак и кричит:— А ну выходи, козёл!— и оборачивается:— Браток, может, он её убил? Всякое может быть, раз он козёл... Придётся братъ, нет на осаду времени... Если он не выйдет, Самсоныч забежит с огорода, браток махнёт через забор, а я рискну выбить окошко...

— Ты шутишь, Коля, ты так не шути... Не забывай, что это семья, а мы посторонние. Я древний и знаю законы.

— Я согласен с Самсонычем. Давай уходить, Колька.

— О, о! Задёргались, задёргались!.. Нет, братки, я должен собственными глазами увидеть Шуру. Вот тогда уйдём.

В глубине двора раздаётся звяканье отмычек и запоров, звуки быстрые и грубые, скрипит дверь, и—голос:

— Эй, кого надо?

По голосу это здоровяк.

— Смотри, молодец, смелый,— шепчет мне Колька, тут же припадает грудью к калитке:— Мне нужна Шура. Имеется такая?

Я успеваю подумать: Боже, сделай так, что это не Шурин дом...

— Шу-ура?— мужик удивлён.— Ну, имеется. А за чем она?

— Да! Шура, Шура нужна!— Колька теперь вовсе смеется.— Слушай, мужик, вызови мне Шуру на минуту. Понял мой смысл? Или иди сам сюда! Поговорю с тобой, как звезда с звездой говорит! Ты же уехал! Ты зачем вернулся, бандит?..

— Ч-чёрт... Кто такие? Почему вас трое? Вы кто?..

— Я Сириус!— Колька весело скалит зубы.— Так ты вызовешь Шуру? Учти, пока её не увижу, не уйду!— Товарищ, простите,— вступает в разговор Самсоныч.— Вы кто приходите к Шуре? Муж?.. Ответьте, пожалуйста, это очень важно.

— Да, я муж, кто ещё?! Муж!.. Я уезжал, а что? Вот приехал.

— Коля, немедленно уходи,— Самсоныч тянет Кольку за руку.

— Да что с ним разговаривать?— Колька стучит кулаком по калитке, доски гудят.— Эй, бандит, открывай!.. Браток,— он горячо шепчет,— позор мне, если не смогу защитить женщину. Она же надеется, браток. Думай, думай, как её вытащить из дому...

На какое-то мгновение восстанавливается тишина.

— Слушай, ты, который требуешь Шуру!— теперь мужик, стоящий на крыльце, разуженный нами, требует уточнения.— Ты кто ей?

— Ха-а, я божий человек!— гордо отвечает Колька.— И защитник! Ты ж избиваешь её, как грушу. Она всё рассказала.

Самсоныч укоризненно роняет в темноту:

— Товарищ, а неужели бьёшь её, в самом деле?

— Ч-чёрт... Эй, защитник! Ты что, ходил без меня к Шуре?

— Молчи, Колька,— я зажимаю ему рот.— Молчи, это провокация. А если у него Шурка— не твоя Шурка, а другая, его законная? Он её сейчас безвинно укокошит. Молчи. Мы всё перепутали...

— Я не только ходил, козёл ты бодливый!— кричит Колька, с силой отгалкивая меня, вид у него отчаянный.— Я уважаю её как человека. Хочешь знать, я кормил её с руки. Понял мой смысл? И попробуй хоть раз ударить её. Завтра я приду— чтоб тобой здесь не пахло. Я говорю забесплатно, ты меня знаешь!..

— Ну, хватит!..— мужик выкрикивает с болью и злостью.— Хватит! Считаю до трёх, потом стреляю... Р-раз! Д-два! Два с половиной...

Самсоныч подсакивает, как юноша, и срывается в темноту.

— Два и семьдесят пять сотых!— смеётся Колька.— Стреляй, бандюга... Ух ты и козёл, я с тобой завтра...

Вдали стихают топот и шуршание— Самсоныч машет без остановки.

— Три-и!— вскрикивает мужик.

И— вспышка с крыльца, и будто гравием шибануло по воротам, и обвальный грохот в ушах. Обхватываю Кольку, толкаю, падаю рядом; мелькнуло в голове: второй выстрел будет по белому плащу... И мы быстро-быстро, словно бы состязаясь, ползём, ползём, прижимаясь к плотному забору, забирая ногтями сырую землю, тяжело дыша, и я потом со стыдом вспоминаю, что я далеко-далеко позади оставил Кольку. Кстати, на воде он мог только по-собачьи, а я и брассом, и баттерфлем. Видимо, это как-то сказывается и на суше.

Сидим подле другого дома, страшно похожего на прежний, все они тут одинаковые, и восстанавливаем сбитое дыхание. Колька сосредоточенно, перегнувшись в поясе, отскабливает щепочкой штаны на коленях, где-то по пути, что ли, очумело ползя, прихватил эту щепочку. Я придурочно хохочу, показываю на неё пальцем. Колька вертит щепочку, отбрасывает, лицо у него смущённое, потом и встревоженное.

— А цветы где?— он озирается и огорчённо сплёвывает.

Самсоныча разыскали в холодных песках карьера. Долго старик не отзывался на свист, будто он считал, что свистим не мы, свистят наши тени. Теперь уже не Колька, а я настаивал искать подлинную Шуру, переночевать коллективом на полу, а утром идти с повинной к мужику, стрелявшему в нас, дураков. Самсоныч был такого же мнения: ох, мы утворили!— и предлагал сейчас же сматывать удочки. Колька порывисто шагнул ко мне и обнял за плечи:

— Браток, я не имею права рисковать вами!.. Иду один, туда мне и дорога. Поняли мой смысл? А вы разжигайте костёр. Самсоныч пуская ворошит палочкой угли, а ты, браток, сиди, грейся и думай хорошее о жизни. Х-ха, жизнь того стоит, браток.

Костёр наш задымил, задымил; и палёной запахло резиной.

Сiju, греюсь, пытаюсь думать хорошее о жизни, желая Кольке устойчивости, Самсонычу простоты, а себе недвижимого дома, тогда я тоже купил бы ружьё, посеял бы астры, жену свою берёг бы и жалел, потому что, как ни суди, ни ряди, а женщина выпускает нас в белый свет, ещё потом от нас и страдает — незавидная доля.

— Знаете, в чём ошибка? — Самсоныч поднимает голову, усталый, задумчивый. — Видимо, не с того конца зашли. Ведь было сказано держаться правой руки. Шурин дом где-то напротив.

Не выходит из головы озлившийся мужчина с ружьём. Вломились в чужую семью, напакостили, подвели незнакомую женщину. Он сейчас сидит, звереет, допрашивает, а она плачет, просит, оправдывается. Жалко женщину, жалко, да ведь пройдёт месяц-два — и она забудет, успокоится, она-то знает, что чиста. А мужик? Даже если завтра наберёмся храбрости, придём, мужик выслушает, если, конечно, станет слушать, и, может быть, поверит нам, но червячок сомнения теперь вечно будет при нём. Выходит, мужик пострадал больше всех. Я подумал: а ничего, пусть, это ему вроде наказания за то, что стрелял в людей.

Вот уже и полночь. Вывалила в центр звёздного неба луна, мягкая, текучая, как тающий крут сливочного масла, и воздух весь зажелтел, а песок окрасился в голубое. Я думаю: вот сейчас подошёл мой поезд Харьков — Владивосток, и проводница тётя Галя, хозяйка моя, ангел-хранитель, с тревогой оглядывает пустой перрон, меня нет, она теперь будет думать всякое. Ладно, сяду завтра в самолёт и встречу поезд в Иркутске. Я восьмой год живу у тётя Гали. Зимой веду на стеклозаводе кружок юных художников, а летом катаюсь в поезде, помогаю хозяйке. Иногда от скуки хожу по вагону, знакоплюсь с народом, слушаю дорожные байки и сам рассказываю, а то и рисую карандашные портретики на ватмане, и однажды тётя Галя со смехом заметила, что ты, Георгий, не иначе как купейный художник. Словом, живу, хлеб жую, зачёркиваю годы. А ведь хорошо начинал: работал в аэропорту, молодой, весёлый, толсторожий, а потом — глупая неосторожность, больница, операция и ранняя пенсия, о которой в мои тридцать пять лет стыдно думать, а тем более рассказывать. Например, Кольке я соврал, что работаю в художественной галерее, и он сдержанно, сожалеюще, похлопал меня по плечу.

— Ах, Коля, Коля, божий человек, — Самсоныч вздыхает.

Нас разделяет костёр, скромный, приниженный, и кажется, что пламя лижет землю, стесняясь взметнуться ввысь. Мне лень шевелиться, и я прошу Самсоныча, чтоб походил, поискал щепочек, а он резонно отвечает, что для этого стар.

— Всё в нём как-то вперемешку... Матушка его, Анна, говорят, была красивой. И умной, начитанной. Что хотите — единственная дочка директора комбината! А вот отец... Он пришёл из глухой деревни с лопатой в руках. Язык толстый, глаза сонные, кривоногий... А чем её взяло?.. Раз в неделю он выбирался из котлована, шёл посмотреть на рыжего младенца, ему разрешили приходить в директорские апартаменты раз в неделю... Он снимал сапоги... Вернее сказать, он скидал сапоги... И по ковровой лесенке шёл вверх, вверх... Теперь вот Коля хвастает, что много может. Что-то, конечно, Коля может, я не спорю... А не глубоко, не глубоко. Думаю, оттого, что мало матушкиной крови.

— Ерунда, здесь вы себе противоречите.

— Ну-у, котлован — не та глубина.

Мне, помню, бабушка рассказывала, что всякими правдами-неправдами, уговорами, насмешками землекопа сплавил в свою деревню. Колька жил с матерью до пяти лет. Мать умерла, сильно простудившись. Приехала деревенская бабушка, пожила неделю в апартаментах и забрала малыша. Я хорошо помню Колькиного отца, Фёдора Кирилловича, маленького, с тонким голосом, с жалкой и искательной улыбкой, когда смотрел на людей, будто бы он жил и думал, что у всех под подозрением, Я говорю сердито:

— Я помню Фёдора Кирилловича, он был душа-человек. Он стремился наверстать: читал классику, учился играть на аккордеоне. Он и в город переехал, чтобы Кольке дать культуру. Главное — он старался.

Самсоныч останавливает взгляд на моих полуботинках, тупых, в глине и песке, и мне стыдно, что они тупые, в глине и песке. Я замечаю на стариковском лице нечто похожее на удовольствие. — Молодой человек! — грустно улыбается Самсоныч. — Товарищ вы браток! Что такое — старание? Достарался и я — до счётной конторы. А есть люди! Они рождаются с размахом — размах старанием не достичь.

И ведь вроде злюсь на старика и не хочу его жалеть, а как-то само собой жалеется. Вижу, он хоть и в куртке, а нависает над костром, суёт в него посиневшие руки. Я набрасываю плащ, думаю, что он откажется, — нет, виновато улыбается и кутается, а помолчав, говорит, не скрывая некоторой ехидцы:

— Старание и труд, товарищ браток, скоро всё перетрут.

— Как сказал бы Колька: х-ха! Не обижайтесь, Самсоныч,— говорю я, смешливо улыбаясь,— наблюдаю за вами: вы ни разу не подняли глаза в небо.

— Да? Может быть, может быть... А о чём это говорит?

Слышим беспечный смешок Кольки, затем негромкое женское:

— Не нужно... Стыдно, Кол-ля!

Двое показываются у крайнего дома, подталакивая узкие и длинные тени, одна чуть короче— Колькина. Женщина идёт впереди, прямая, чуть грузноватая, и снова—одни глаза, а лоб и губы спрятаны за чёрным платком. Колька сваливает в костёр охапку берёзовых поленьев. Самсоныч приближается к женщине, голова у него на шее— что у гусака: так же подёргивается и озирает предмет важно и самонадеянно.

— Браток, дом её был против пальбы,— Колька поглядывает на Шуру с жалостью, виновато.— Шура слышала пальбу. Правда, Шура?.. Когда я, живой, к ней постучал, она как раз молилась, думала: всё, Коле кранты. На её языке, браток, кранты обозначают: прощай.

— Кол-ля, ты весёлый. Не нужно.

— А вы на каком языке думаете?— Самсоныч гладит её руку.

— Шура знает. Правда, Шура?— Колька франтовато вздёргивает чуб.— Она знает, что Колька благородный, хоть простой, он всем должен, а ведь ни у кого не занимал!..

В волнении делается Колька, я его понял, неудержимо болтлив и хвастлив. Как всякому застенчивому человеку, а он застенчив, я это легко угадываю, бывает Кольке потом совестно. Но это ж потом! Я слушаю его, люблюсь, он по-своему красив, широк, бескорыстен, и думаю: надо ему прощать браваду, ведь где волнение, там и подъём, а на подъёме, знаю, голова становится лёгкой и звонкой. — Милые мои, сегодня я люблю вас!— Колька раскидывает руки.— Буду ли завтра любить?.. Это уже от вас зависит... Браток, знаешь, я сожалею: надо было после выстрела завизжать как от боли, а? Пускай бы считал, что ему теперь тюрьма!

— Ты что, Колька? Поставь себя на его место. Ему как сейчас тошно. Утром надо сходить, объяснить ему. Пойдёшь?

— Я? Ни в жизнь!.. Браток, где гарантия? Он зарядит ружьё, как придём к нему, и будет прав. Не, я жить ещё хочу.

— Коля, Коля,— Самсоныч озабочен.— По-моему, Шура замёрзла.

Приходим, включаем лампочку, жмуримся.

У порога пустое мусорное ведро и кучка обуви: туфельки, тапочки, сандалии, босоножки, маленькие и зашарпанные,— я поскорей отвернулся. В доме голым-голо, как перед вселением или перед отъездом. В доме— три комнаты, кухня. На середине

большой комнаты стоит двухтумбовый стол, казённый, должно быть, списанный, а вокруг него шесть стульев, все забрызганы чернилами. Справа, как заходишь, стоит железная кровать, пугающая сеткой, а матрас свёрнут в изголовье. Над кроватью висит крошечная репродукция из журнала: красный конь, на коне голый мальчишка. Помню, мой отец про эту картину говорил: конь хорош, красный, видный, а много не вспашет... Колька спросил, знаю ли я фамилию художника. Я назвал: Петров-Водкин. Колька усмехнулся, однако стоял перед картиной, глядя почтительно... В смежную комнату я просунул голову, отведя шторы: на полу спали дети, ближний у двери мальчонка, кинув край одеяла, замёрз, обхватил плечи тонкими руками. Была ещё комната, её приспособили под кладовую: всё навалом— три чемодана, сундучок, сбитый обручами, два узла с тряпьем, несколько мешков с картофелем, до сотни пустых бутылок, а в дальнем углу желтеет сено— маленький аккумуляторный стожок.

— Ай-яй-яй, беда, беда,— Самсоныч, как и я, поражён.— Убежал, подлец, и бросил лежачих. А она-то? Она по-русски, думаю, глаголы только знает— и всё. Ай-яй-яй...

Торопливо, даваясь, уминаем варёную картошку, холодную, скользкую в пальцах. Шура сидит в кухне, мы её звали, звали... В кухне я зачерпнул воду, попробовал— тёплая, пить не рискнул, а пошёл на крыльцо, сел, и стало до того ли тошнёхонько, и главное— Кольку во всём виною: зачем привёл сюда? И ещё ваньку валяет: «Милые мои, сегодня я люблю вас». Плакать надо, ругаться, искать выход. А лучше бы я уехал, всего этого бы не видел, не переживал. Вышел из дома и Самсоныч, посидел рядышком, повздыхал, потом, будто что-то вспомнив, прошагал по двору и скрылся за калиткой. Минут через пять, позёвывая, напуская на себя весёлость, явился Колька, и я со злом его осадил:

— Комедию ломаешь. Стыдись. Плакать надо, ругаться!..

— Поплачь, заплачь, легче станет,— Колька садится поодаль.— Любишь себя, жалеешь... Браток, браток, я сам еле сдерживаюсь. Она сейчас сказала на своего бандита: русский, а—нехороший. О! Будто мы поголовно суждены быть хорошими?! Я её учу: жизнь замрёт, если все станут поголовно хорошими. Не верит, совсем она неграмотная... Ну даёт! Если, значит, я русский...

— Зря ты её сбиваешь с толку. Она права: чем больше хороших, тем меньше плохих. На этом уровне и надо говорить.

— Поверь, я даже согласен с нею жить. Ну, я ей говорю: возьму вас под опеку, год с вами проживу... Касаться, мол, тебя не буду, а только одевать и кормить... Она как рассмеялась, как чокнутая... Браток, ну я чем богат? Разве что страданием!



Говорю: Шура, не жалею о козе, я корову куплю. Да! И я купил бы дойную корову. Я когда-то умел косить. А доить и Самсоныч умеет, и Сафроныч, и Марта Гавриловна. Х-ха! Браток, при умном распределении, согласишься, молоко всем достанется. — Колька, а вот кто её в Намангане ждёт с таким выводком?..

— Так и я говорю. А она: поедет, поедет, там хорошо...

Я слушаю Кольку и думаю: Шуру ли жалеть, Кольку ли жалеть? И кто из них, двоих, большей жалости просит?.. А ведь они просят, хотя делают это не вслух.

С улицы, озираясь, возвращается Самсоныч, с букетом. Гляжу на букет удивлённо: да, тот самый, ещё и с комочками глины.

— Коля, Коля, — Самсоныч торжественно выпрямляется. — Уверен, Шуру никогда не дарили цветов. Держи! Ты будешь первый с цветами.

— Вы с ума сошли, — говорю, — это же насмешка. Вы что?

— Браток прав. Да, Самсоныч, поднеси-ка цветы бабушке Марте.

Долго мы распределялись спать. Никто не хотел нагнеть, и двупальная кровать осталась со свернутым матрасом. Самсоныч устроился на раскладушке, её поставили в кухне, там теплее. Я попросился на пол к ребятишкам. Колька и Шура выключили лампочку, поставили на стол свечку и сидели возле неё и шептались.

Что на полу жёстко, если даже подстилка из сена, — это не беда, а беда — холодно. И ещё — шёпот. Если он разборчив, я ни за что не усну, слушаю, такая моя природа. Я приполз к шторкам, взглянул и признался Кольке, что всё слышу. Они враз замолкли. И я, наверное, мигом же уснул, оботкнув себя плащом, как на учениях когда-то шинелишкой.

Просыпаюсь — плащ с меня стягивают, причём тянут рывками, как бы раздражённо... За окнами ещё темень. Свечка до половины истаяла, язычок огня кажется мне похожим на золотую чайную ложечку. А стягивает плащ крайний мальчишка и делает это бессознательно с полным правом: замёрз. Я потрогал его ледяные плечики и ужаснулся: что же ты, мачеха, ребятишкам на полу стелешь?.. И другой, и третий мальчишки сложились в комочки, я такие видел на картинке, показывающей беременную женщину как бы в разрезе. В комнате всё ещё тихо шептались. Я притянул младшего из детей, сунул под мышки и пригрел. Зло меня берёт, и теснее прижимаю пацанёнка, будто и свою, и чужую вину, жалкую и ощутимую. Злось и на Кольку: где чувство реальности, рыжий? Скорее всего, ты хочешь в будущем спать спокойно: мол, я предлагал опеку — она отказалась, но я же предлагал?..

— Кол-ля, не надо, — не шепчет, а уже говорит в полный голос женщина. — Мы сами, Кол-ля... Ты сам, а мы сами...

— Сами-и! — Колька почти вскрикивает. — Вы не будете сами. Я! Я всегда был и буду сам. Сам, как от-ветчик, — и совсем тихо Колька выдыхает: — Тяжело плечам, Шура... Плечи давят на душу, знай. Я тебя никогда не забуду... Ты нас прости, мы не злые...

Я поднимаю от подушки голову: глухой стук слышится, и шорох, и тишина, а следом, как из бездонной глубины, едва слышимые, но всё выше и круче забирая, доносятся ко мне, стягивая кожу на затылке, рвущиеся, невыносимо стыдные для слуха, позорные звуки мужского рыдания. Колька, Колька... Перед женщиной? У неё у самой доплетна горьких слёз, но она-то сдерживается. А ты? Трезвые и осмысленные слёзы мужика — что есть страшнее?.. Я решительно выбираюсь из-под плаща и, лёжа на животе, просовываюсь в дверной проём: Колька Медный, тускло освещённый свечкою, стоит на коленях, головою уткнулся в чёрный и тугой подол и сотрясает худыми плечами под клетчатой рубашкой.

— Кол-ля... Благородие моё, Кол-ля... — женщина плачуще и нежно выпевает его имя, одна её рука запущена в огненную гриву на затылке, а другая рука приглаживает и приглаживает рубаху на выпяченных лопатках. — Ты благородие... Хороший Кол-ля... — и она гладит его, гладит, и приговаривает, и глаза её, сухие, устремлены в сторону истаивающей свечки.

Перед утром Колька, пасмурный, с мрачным лицом, расталкивает меня. Светлеет. Через окно мне видны верхушка телеграфного столба, две белые чашечки, косые нити проводов. Колька объясняет, что лучше уйти сейчас, пока не проснулись дети, да и на улице ещё нет людей. Мы не смотрим друг на друга. Самсоныч сидит уже одетый, весь скорбный и отчётный, нос почти нападает на верхнюю губу. Вдавившись в полосатый матрас и поджав ноги в шерстяных чёрных носках, спит на левом боку Шура, сдвоив ладонки под щекой, и чёрные тени под глазами кажутся мне специально навешенными, а губы — полуоткрытые, будто немедленно готовые или горестно сомкнуться, или улыбнуться, смотря что ей прикажут, и то если прикажет сильный человек. Колька с полминуты стоит над ней, свесив руки, и, круто повернувшись, выходит в дверь.

Проводили Самсоныча до подъезда, он вошёл, не простившись даже, хмурый, недовольный. Направились с Колькой в музыкальную школу: цела ли она, не сгорела ли, покуда сторож шастал по окраинам города? Издалека разглядев за спящими ещё домами красную железную крышу и угол побелённой стены, Колька равнодушно кивает: цела. И тащит меня на вокзал. Я, рискуя обидеть Кольку, говорю:

— Ты заметил? Сама на кровати спит, а дети — на полу.

— Молчи, браток, и никому не рассказывай, — отвечает он. — Страшно подумать: дети болеют нервами. Я хотел перетащить их на койку. Шура не дала, они на койке пугаются, кричат во сне: им кажется, что под койкой родная мать... Ты понял смысл? Гад пьяный, он её под койку... А они? Что мы делаем, что делаем?..

Колька оглядывает каменную улицу, холодную с утра, притаившуюся. Клочки тумана невесомо тычутся в цоколи домов, окутывают подножия берёз в сквере, и кажется, что берёзы просто парят в воздухе, не достигнув полуметра до земли. Обгоняя нас, тащится на вокзал утренний автобус, почти пустой. На высоком сиденье сонно покачивается молодая плечистая кондукторша, скуластая, узкоглазая, в голубой вязаной шапочке. Лениво оглядывая нас, кондукторша грозит пальцем и зевает в кулак. Колька толкает меня локтем, говорит:

— Это и есть Маринка, подруга Люсина... Ничего, — Колька вздыхает. — Ничего, мы с Люсей пробьёмся куда хотим, если, конечно, перед нами расступятся. Правду говоря, Люся пообещала отправить Шуру и детей, без хлопот, без билетов. Ничего, Люся женщина мировая. Я давно её люблю, браток, и она чувствует. Но вспомни её лицо. Вспомнил? А теперь сравни её лицо и мою рожу. — Ну и что?! Колька, есть же внутренняя красота! — Брось, брось... Сказки моей бабушки, — морщится Колька. — Лицо есть лицо. Оно как наволочка, браток... Помнишь, в буфете я говорил про пульс и рождение? О-о! Та ещё фантастика! Знаешь, распускается мой узелок, я чувю: скоро мне кранты. А что дальше? Это важно было знать: куда мы деваемся дальше?.. Браток, когда я бежал в кедах, а Шура за спиной, меня всё же настигли цыганские люди. И я им рассказал свою историю. Они выслушали со слезами, подвели мне красного коня: Коля, скажи, вот твой конь, он с картины Петрова-Водкина. Я вскочил, конь зашатался подо мной... — Колька сплёвывает на тротуар мимо урны, лицо его покраснелось, глаза горят. — Ты меня знаешь, браток. Я повторяю: я не опасен общественному питанию... Я хотел родиться на Землю, а вокруг меня пульсировали миллионы других горошин, а у меня не было шансов родиться. Понимаешь, я как-то понимал, что мог родиться только от Анны и Фёдора. И что? Ведь это были два жутко разных и далёких узелка. Х-ха!.. Мой пульс равен как бы... И я пульсирую, немой ужас, с частотой тысяча ударов в секунду! Ты понял? Я начинаю их сближать, браточек, Фёдор берёт лопату, чтоб идти копать котлован в городе. Бросает в деревне мать и отца, не понимая, что такое с ним происходит... А это я веду его!.. Анна в золочёных туфельках спускается по коврам, выходит на дождь, ступает

по грязным лужам, не понимая, что с ней происходит, идёт смотреть, как роют люди котлован... А это я веду её!.. Я помню пульсом, как сейчас, это было близко к взрыву, так я напрягался, браток... И вот засыпает ночной дом директора комбината, — Колькин голос вибрирует, рвётся, доходит до шёпота. — Анна трясётся от страха в комнате, ждёт, ненавидя его, маленького, в рабочем поту на спине. Фёдор трясётся от страха, открывая дверь с благородной ручкой, сбрасывая глиняные сапоги, и потом взбегаёт по лесенке босиком... Они ближе, ближе, два мигающих светлячка, два чужих мира, два сапога пара — ради моего узелка! И вспышка, и взрыв, и свистящая музыка — я стремительно падаю на Землю. Всё! И затянулся мой узелок. А?! А ты говоришь: я не помню. Я помню, браток! Хотя что с того толку?.. — Колька отирает лоб. — А потом Анна и Фёдор разошлись, как в море корабли... Это важно, но уже не важно. Они сделали, что и должны были сделать. Ты понял мой смысл?

Пряча от Кольки глаза, я достаю чёрные очки. Через мягкую черноту стёкол Колька, со слабой шеей и коротким носом, чудится не человеком, а призраком, отстоявшим, например, много смен подряд у станка, усталым и, как говорится, очень довольным.

— Во всяком случае, — я не хочу выглядеть тупым, — у тебя, Коля, сильное воображение. Да! Но я тебе не завидую.

— Браток, такая натура моего характера! — Колька стоит, слегка разочарован, что я не в восторге от его фантазии. — И я всегда говорю забесплатно!.. И последнее, браточек, от меня, — Колька достаёт плоский кошелёк, вынимает сторублёвую бумажку. — Завтра начинается новый бизнест. Хочешь смеяться, хочешь не смеяться: никто ещё у меня не занимал. Я даже не знаю чувства, с какими люди ждут: отдаст долг или не отдаст?! Возьми, возьми!.. Наверняка тогда навестишь меня ещё разок. Я расскажу, как мы проводили Шуру. И знаешь, ты ведь и Люсе моей понравился... Не забывай, а мы будем ждать.

От железнодорожного вокзала есть прямой автобус в аэропорт. Я тороплюсь уехать. Колька меня уже и тяготит, и ранит простотой, и раздражает. Зачем он такой — простой? Автобуса нет и нет. Нам приходится говорить на пустячные темы. Потом Колька вдруг начинает меня учить жить. Он говорит, чтоб я ушёл от тёти Гали, чтоб не тянул из неё добрые соки. Как бы в отместку ему, я говорю, чтоб и он выгонял к чёртовой бабушке своих сирот-старичков. Они вряд ли сейчас пропадут, не то время, чтоб пропадать, — мы все на учёте. Ещё я советую бросать музыкальную школу. Благо, если б его окружали спортсмены, например, красивые и атлетичные, а не хилые старички-неудачники, и сторожил бы он, например, консерваторию, а не бездарную музыкалку.

— Поздно,— говорит Колька с болью.— Браток, они меня окружили.

На обратном пути, так получилось, я проспал станцию, тётя Галя пожалела меня будить. Я слегка переживал, не увидев Кольку, не вернув ему сторублёвку, а потом подумал и успокоился: успею ещё.

Нынче, двенадцатого июля, я сошёл с поезда в родном цветущем городке. Улыбаясь, что называется, во весь рот, приблизился к буфетной стойке, облокотился. Я был разодет по моде, свежий и гордый. — Люся!.. Зачем дразните своей коррупцией, Люся?!

— Ой, это вы? — Люся прижала руки к груди.— Коля был бы вам рад.

В конце апреля Колька полез на крышу приколотить дверцу слухового окна. В ветреные дни дверца хлопала и скрипела, донимая чутких сирот-старичков. Самсоныч бросил идею: дорогой Коля,

залезь, заколоти её совсем!.. Колька сел спиной к крутому шиферному скату, пригрелся на солнышке, задумался, прислушиваясь к детским голосам, доносившимся снизу, и бездумно опустил молоток рядом с собой, на шифер, и молоток пополз вниз по желобку, не задерживаясь, убыстряясь. Надеясь подхватить молоток, Колька резко подался вперёд, выкинул руку, не достал, ещё потянулся, ещё и— вывалился на шифер, заскользил к краю, отчаянно упираясь ладонями, раздираемыми в кровь жёстким шифером, скользил, воздев лицо к небу, крича, так и полетел на бетон, выставив руки, словно бы надеясь в пустоте хотя б на лёгкую опору... Люди сбежались; одноногий Сафроныч, ополоумевший от горя, то развязывал, то связывал холодные шнурки на Колькиных бело-голубых кедах, а Самсоныч, в шляпе и перчатках, плача, схватил молоток и, пытаясь, что ли, сделать больно этому куску железа, бил и бил им по бетонной плите, лишь отгрошивая её, лишь высекая холодные искры.